

Часть вторая. Республика

4 сентября

I. 4 сентября

Сквозь ужас, который вкушала империя, мысль о том, что ей приходит конец, распространялась по Парижу, а мы, энтузиасты, мы бредили социальной революцией в широчайшем и возвышеннейшем смысле этого слова.

Те, кто прежде кричали во все горло: «В Берлин», – продолжали, правда, утверждать, что французская армия всюду побеждает. Однако уже в их речах начинали проскальзывать позорные намеки на возможность капитуляции; но им бросали их обратно в лицо, говорили, что Париж скорее умрет, чем сдастся, и грозили, что будут бросать в Сену тех, кто распространяет подобные предположения. И они тихонько отходили в сторону.

Второго сентября вечером слухи о победе, исходившие из подозрительного, т. е. правительственного, источника, внушили нам мысль, что все потеряно.

Волны народа весь день наполняли улицы, а ночью толпа возросла еще больше.

По требованию Паликао, заявившего, что он получил важные телеграммы, 3 сентября состоялось ночное заседание Законодательного корпуса.

На площади Согласия толпились группки людей; такие же группки стояли на бульварах, оживленно переговариваясь друг с другом: в воздухе чувствовалась гроза.

Рано утром какой-то молодой человек, прочитавший одним из первых правительственное сообщение, пересказывал его с жестами крайнего изумления; его тотчас же окружили с криками «пруссак!» и свели к посту Бон-Нуviel, где на него набросился какой-то полицейский агент и смертельно ранил его.

Другого, утверждавшего, что он только что прочел сообщение о поражении, убили бы на месте, если бы один из нападавших, человек, как видно, добросовестный, случайно не поднял глаз и не заметил на стене следующую прокламацию, которую в эту минуту читал весь Париж, пораженный как громом.

Совет министров – французскому народу

Великое несчастье постигло родину. После трех дней героической борьбы, которую армия маршала Мак-Магона вела против трехсот тысяч неприятелей, 40 тысяч наших были взяты в плен. Генерал Вимпфен, принявший командование армией вместо маршала Мак-Магона, тяжело раненного, подписал капитуляцию; этот жестокий удар не поколеблет нашего мужества.

Париж находится теперь в состоянии обороны; военные силы страны организуются; не пройдет и нескольких дней, как под стенами Парижа будет новая армия.

Другая армия формируется на берегах Луары.

Ваш патриотизм, ваше единение и ваша энергия спасут Францию.

Император взят в плен во время боя.

Правительство, в согласии с общественными властями, принимает все меры, которых требует важность происходящих событий.

Совет министров

Граф де Паликао, Анри Шевро, адмирал Риго де Женуйи, Жюль Брам, Лятур д'Овернь, Гранперре, Клеман Дювернуа, Мань, Бюссон, Бильо, Жером Давид

Как бы ловко ни была составлена эта прокламация, никому и в голову не приходила мысль, что империя могла пережить подобную сдачу целой армии со всеми пушками, оружием, обозом, со всем тем, что требуется для борьбы и победы.

Париж не стал беспокоиться о судьбе Наполеона III: Республика, еще не провозглашенная, уже существовала в сердцах.

И вопреки позору поражения, позору, павшему на империю, на лицах сиял свет Республики, ее отблеск; будущее открывалось в лучах славы.

Море людей заполняло площадь Согласия.

В глубине выстроились в боевом порядке последние защитники империи: муниципальная гвардия и городская полиция, считавшие своим долгом повиноваться дисциплине отходящего режима, хотя все прекрасно знали, что его не удастся воскресить из мертвых.

К полудню на улицу Ройяль стали прибывать вооруженные национальные гвардейцы.

Тогда муниципальные гвардейцы обнажили сабли и построились тесным строем; вместе с полицейскими они отступили, как только национальная гвардия двинулась вперед в штыки.

По толпе пробежал крик. Как буря, к самому небу взвился возглас: «Да здравствует Республика!»

Городская полиция и муниципальная гвардия окружали здание Законодательного корпуса, но напиральная толпа придвинулась вплоть до решеток с криками:

– Да здравствует Республика!

Республика! Это звучало как греза! Наконец-то!

В воздухе сверкнули сабли полицейских. Решетки были разбиты; толпа вместе с национальной гвардией хлынула в Законодательный корпус.

Шум прений доходит до площади; время от времени воздух рассекает крик: «Да здравствует Республика!»

Вошедшие бросают в окна бумажки с именами предполагаемых членов временного правительства.

Толпа поет «Марсельезу». Но империя осквернила этот гимн, и мы, революционеры, больше его не поем.

Песенка о крестьянине-простачке разрезает воздух своим волнующим припевом:

Простачок, простачок, Косу ты наточи. Мы чувствуем, что мы и есть мятеж, и мы жаждем его.

Продолжают сыпаться билетки с именами; некоторые из них, например Ферри[26], вызывают ропот, но другие говорят:

– Что за беда?! Раз у нас Республика, всегда можно будет сменить тех, кто не подходит.

Списки составляются депутатами. На одном из них значатся Араго[27], Кремье[28], Жюль Фавр[29], Жюль Ферри, Гамбетта, Гарнье-Пажес[30], Глэ-Бизуен[31], Эжен Пельтан[32], Эрнест Пикар[33], Жюль Симон[34], парижский губернатор Трошю.

Толпа кричит: «Рошфор!» Его вносят в список; теперь командует толпа.

Гул голосов у ратуши. У здания Законодательного корпуса было прекрасно, но там будет еще прекраснее. Толпа поворачивает к ратуше. Сегодня она в зените блеска и власти.

Члены временного правительства[35] уже там. Только один из них в красном шарфе: это Рошфор, только что выпущенный из тюрьмы.

Новые крики: «Да здравствует Республика!»

Все полной грудью вдыхают воздух свободы.

Рошфор, Эд, Бридо, четверо несчастных, осужденных по ложному доносу агентов за участие в ля-виллетском деле, о котором они ничего даже не знали, осужденные по процессу в Блуа

и другие узники империи, – все получили в тот день свободу.

Пятого сентября Бланки[36], Флотт, Риго[37], Т. Ферре, Брейе, Гранже, Верле (Анри Плас), Ранвье[38] и другие ждали выхода Эда и Бридо: Эжен Пельтан только что подписал приказ об освобождении их из тюрьмы Шерш-Миди.

Верили, что Республика принесет и победу, и свободу.

Тот, кто заговорил бы о сдаче, был бы растерзан на месте.

Под сентябрьским солнцем виселись 15 фортов Парижа, подобные боевым судам со смелыми моряками. Какая армия могла бы взять их штурмом?!

К тому же вместо долгой осады предстоят массовые вылазки: ведь нет больше Баденге, теперь у нас Республика.

“ На небе встает огнем
Вселенской республики лик,
Народы покрыл он крылом,
Как мать ребятишек своих.
Заря на востоке горит —
Не видишь гигантской зари?
Восстань же скорее, кто спит,
Великое дело твори.
Правительство клялось, что никогда не сдастся.

Все были преданы родине беззаветно; каждый хотел иметь тысячу жизней, чтобы принести их в жертву.

Революционеры были повсюду, и число их все возрастало; в каждом чувствовалась огромная жизненная мощь. Казалось: вот, здесь сама революция.

Как будто выступала живая Марсельеза, вместо той, которую профанировала империя.

«Долго это не продлится», – говорил старик Мио[39], помнивший 1848 год.

Однажды у дверей ратуши Жюль Фавр сжал в своих широких объятиях зараз Риго, Ферре[40] и меня, называя нас своими дорогими детьми.

Что до меня, то я его знала давно; он был, как и Эжен Пельтан, председателем общества содействия начальному обучению; там-то, на улице Отфейль, где были эти курсы, крики «Да здравствует Республика!» раздавались задолго до конца империи.

Я думала об этом в майские дни, проведенные мною в Сатори[41], перед кровавой лужей, в которой победители мыли свои руки. Только эту воду давали пить заключенным, лежавшим

под дождем в окровавленной грязи двора.

II. Национальная оборона

Неужели власть так изменила героев сентябрьских дней! Они, которых мы видели такими смелыми перед империей, были охвачены ужасом перед революцией.

Они отказывались сделать разбег, чтобы перепрыгнуть через пропасть, они давали обещания, клятвы, обсуждали положение, но и не думали о том, чтобы из него выйти.

Мы отдавали себе отчет в положении совсем по-другому, с иными чувствами.

Вильгельм приближался – тем лучше. Париж стремительным натиском отразит врага. Провинциальные армии соединятся, – разве у нас не Республика?

А по заключении мира Республика не будет воинственной, агрессивной по отношению к другим народам. Интернационал завоюет весь мир в горячем порыве социального Жерминаля.

С глубоким сознанием своего нрава и долга население требовало оружия, а правительство отказывалось его выдать. Может быть, оно опасалось вооружить таким путем революцию, а может быть, оружия действительно не хватало: во всяком случае, ограничивалось одними обещаниями. Пруссаки продолжали продвигаться вперед, они достигли уже конечного пункта железной дороги, ведущей в Париж, и с каждым днем подступали все ближе и ближе.

Но в то же самое время, как газеты сообщали о продвижении пруссаков, появилось официальное сообщение о запасах продовольствия в Париже, вполне успокоительного свойства.

В парках, в Люксембурге, в Булонском лесу 200 тысяч баранов, 400 тысяч быков и 12 тысяч свиней умирали от голода и тоски – бедные животные. Но зато на них с надеждой останавливались глаза тех, кто беспокоился о судьбе города.

Муки, вместе с запасами пекарен, было более 500 тысяч центнеров[42]; кроме того, было до 100 тысяч центнеров риса, около 2000 центнеров кофе, от 30 до 40 тысяч центнеров соленой говядины, не считая огромного количества товаров, подвозимых спекулянтами; эти товары стоили, конечно, в сто раз больше настоящей цены; но ведь в случае кризиса они поступят вместе с другими запасами в общее пользование.

Вокзалы и все общественные склады были переполнены продуктами.

В здании Новой Оперы, вчерне законченном, архитектор Гарнье приказал пробуровать слой бетона, на котором покоился фундамент, – и оттуда вырвался источник, бравший свое начало с Монмартра: значит, будет и вода.

Лучше было бы, пожалуй, если бы ничего не было: тогда временное правительство в первые дни своего существования не заморозило бы героический порыв Парижа, и наступление неприятеля было бы победоносно отражено!

Некоторые из мэров действовали в полном согласии с парижским населением. Малон[43] в Батиньоле и Клемансо в Монмартре открыто принадлежали к революционерам[44].

Мэрия Монмартра с помощниками Клемансо – Жакларом[45], Дерером[46] и Лафоном – временами приводила в трепет реакционеров.

Но скоро они успокоились. Что могли поделаться смельчаки-революционеры, когда старая бюрократическая машина империи, хотя и под новым именем, продолжала давить бедняков!

Пруссаки подходили все ближе и ближе; 18 сентября они уже достигли фортов, 19-го заняли Шатильонское плато. Но Париж решил скорее сгореть, как когда-то Москва, чем сдаться.

Начали циркулировать слухи об измене правительства. Между тем оно было только неспособно. Власть делала свое извечное дело. Она будет его делать до тех пор, пока привилегии будут поддерживаться силой.

Если бы в это время правительство повернуло против революционеров жерла своих пушек те не были бы нисколько этим удивлены.

Но чем хуже становилось положение, тем сильнее была жажда борьбы.

Порыв был всеобщим; все чувствовали необходимость дать ему выход.

Даже «Век»[47] 7 сентября напечатал статью под заглавием «Призыв к смельчакам»...

И смельчаки явились толпой, их не надо было звать: ведь на то была Республика. Скоро, однако, волокита бюрократического аппарата, унаследованного от империи, парализовала все.

Ничто не изменилось, разве только то, что все колеса и винтики получили новые ярлыки. Надели маску – вот и все.

Фальсифицированные продукты, запасы, существовавшие только на бумаге, недостаток во всем необходимом для военных действий, скандальные барыши поставщиков, нехватка оружия – все говорило за то, что дело шло по-старому.

По признанию самого военного министра, единственный батальон, находившийся в полной боевой готовности, был батальон чиновников министерства.

– Не говорите мне об этих пустяках, – заявил генерал Гюйяр лицам, интересовавшимся вопросом о ружейных затворах.

Впрочем, самые плохие солдаты могли оказаться полезными, если бы ими командовали решительные люди, которые сумели бы заставить их с мужеством отчаяния бороться за свою свободу.

Феликс Пиа[48], чересчур недоверчивый (правда, он имел право быть таким, ибо достаточно в прошлом поплатился), и те, кто пережил вместе с ним июньскую и декабрьскую бойню, как бы вновь переживали их; революционеры, надеясь победить без правительства, обращались к парижскому населению главным образом через наблюдательные комитеты и клубы.

Страсбург, осажденный 12 августа, 18 сентября все еще держался.

В этот день в Париже чувствовалось подавленное настроение; агония Страсбурга, израненного, бомбардируемого со всех сторон, но не желавшего умирать, привлекала к нему всеобщее сочувствие – и некоторым из нас, по большей части женщинам, пришла в голову мысль вооружиться и идти напролом на выручку Страсбурга: помочь ему или умереть вместе с ним.

И вот наша маленькая группа направилась к городской ратуше с криками: «В Страсбург! В Страсбург! Добровольцы, на защиту Страсбурга!»

На каждом шагу к нам подходили новые манифестанты, женщины и юноши, в большинстве случаев студенты. Скоро собралась значительная толпа.

На коленях статуи Страсбурга лежала открытая книга, и мы подошли к ней расписаться в нашем добровольном вступлении в армию.

Оттуда мы молча направилась к городской ратуше. Нас была целая маленькая армия.

Пришло много учительниц; некоторые с улицы Фобур-дю-Тампль, и с этими я часто виделась впоследствии; среди них я впервые встретила Венсан, которая идею женских союзов, быть может, почерпнула именно из этой манифестации.

Андрэ Лео и я были отправлены делегатками требовать оружия.

К великому нашему удивлению, нас приняли без всяких возражений, и мы уже считали, что наша просьба будет исполнена, когда нас отвели в пустую обширную залу, уставленную одними скамейками, и заперли за нами дверь.

Там уже были два пленника: студент, участвовавший в манифестации и носивший, если не ошибаюсь, фамилию Сенар, и некая старушка, переходившая площадь, держа в руках бутылочку прованского масла, только что купленного ею, и арестованная неизвестно почему: ни она сама, ни те, кто ее задержал, ничего об этом не знали. Она так дрожала, что масло выливалось из бутылки ей на платье.

Так прошло три или четыре часа, пока появился наконец какой-то полковник, который должен был нас допрашивать. Но мы отказались отвечать, пока не освободят бедную старушку.

Ее испуг, бутылка с маслом, дрожавшая в руках, достаточно ясно говорили о том, что она не участвовала в манифестации.

В конце концов, дело уладилось – и старушка вышла дрожащей походкой, стараясь не уронить склянку, из которой продолжало капать масло.

Тогда приступили к нашему допросу, и так как мы воспользовались случаем повторить нашу просьбу о вооружении батальона добровольцев, то офицер, видимо ничего не понявший, с идиотским видом воскликнул:

– Что вам за дело до гибели Страсбурга, когда вас самих там нет!

Это был плотный мужчина с правильными и глупыми чертами лица, широкоплечий, крепко скроенный, типичный экземпляр золотопогонника.

Что было отвечать на это? Мы только молча посмотрели ему в глаза, а так как я вслух произнесла номерок его кепи, то он, может быть, понял, что сморозил лишнее, и ушел.

Через несколько часов один из членов правительства, приехавший в ратушу, велел выпустить на свободу студента, Андрэ Лео и меня.

Манифестацию рассеяли, прибегнув частью ко лжи, частью к насилию.

В этот самый день Страсбург пал.

Много говорили о Луарской армии; уверяли, что Вильгельм будет раздавлен этой армией и одновременной вылазкой парижан.

Доверие к правительству падало с каждым днем, его считали неспособным (как, впрочем, всякое правительство), но надеялись, что дело спасет общий порыв парижан.

А пока что каждый находил время для упражнений в стрельбе в бараках. Я сама сделалась в ней довольно искусной, как это обнаружилось впоследствии в маршевых ротах Коммуны.

Париж, желая защищаться, был настороже.

Федеральный совет Интернационала заседал в Кордери-дю-Тампль. Там же собирались и делегаты клубов. Таким образом, сформировался Центральный комитет 20 округов, который, в свою очередь, в каждом округе создал «наблюдательные комитеты» из ярых революционеров.

Одним из первых актов этого Центрального комитета было изложить правительству волю Парижа. Последняя была выражена в немногих словах на красной афише, которая была сорвана в центре Парижа сторонниками «порядка»; наоборот, в предместьях ее приветствовали. Правительство по глупости приписало ее прусским агентам; последние были родом навязчивой идеи у этого правительства. Вот эта афиша:

ПОГОЛОВНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ!

НЕМЕДЛЕННОЕ ВООРУЖЕНИЕ!

ВВЕДЕНИЕ ПАЙКОВ

Под нею стояли следующие подписи: Авриаль, Белэ, Брион, Шален, Комбо, Камелина, Шардон, Демэ, Дюваль, Дерер, Франкель, Т. Ферре, Флуранс, Жоаннар, Жаклар, Лефрансэ, Ланжевен, Лонге, Малон, Уде, Потье, Пенди, Ранвье, Режер, Риго, Серрайе, Тридон, Тейсс, Тренке, Вальян, Варлен, Валлэс[49].

В ответ на эту афишу, которая совершенно правильно выражала волю Парижа, правительство, идя по стопам империи, стало распространять слухи о победе и о близком приходе Луарской армии.

Но вместо Луарской армии прибыла весть о поражении при Бурже и о сдаче Меца маршалом Базеном[50], отдавшим неприятелю стратегический пункт, который еще никогда никем не был взят, форты, боевые припасы, 100-тысячную армию и оставившим без защиты и север, и восток.

Четвертого сентября, когда мы с Андрэ Лео вышли на улицу, какая-то дама, пригласив нас в свою карету, рассказала нам, что в армии приходят к концу все припасы, снаряды и прочее. И, как бы предупреждая обвинение, которое она ожидала услышать от нас по поводу состояния Меца, она заверила нас, что Базен никогда не пошел бы на предательство.

Это была его сестра.

Может быть, он был более трусом, чем предателем – пусть так; результат был один и тот же.

Газета «Борьба», орган Феликса Пиа, 27 октября поместила известие о сдаче Меца. Новость, заявляла редакция, исходит из достоверного источника; в самом деле, ее принес Рошфор, который был навязан толпой в члены правительства 4 сентября; он не мог, не делаясь соучастником измены, молчать и сказал об этом Флурансу[51] – командиру бельвильских батальонов. Тот передал известие Феликсу Пиа, который и опубликовал его в «Борьбе».

Известие было тотчас объявлено ложным, и типографские станки «Борьбы» были разбиты сторонниками правительства; но каждое мгновение приносило все новые доказательства его истинности.

Пельтан тоже не сумел сохранить в тайне сдачу Меца.

Остальные члены Правительства национальной обороны, подстрекаемые своим злым гением, карликом Футрике[52], вернувшимся в Париж (после того как он подготовил к сдаче Парижа всех европейских государей), продолжали отрицать факт: до того их свело с ума это поражение в связи с народными волнениями.

Заметка, появившаяся в «Правительственной газете», сообщала о том, что возбужден вопрос о предании Феликса Пиа военному суду...

На следующий день, 29 сентября, правительственное сообщение было напечатано в «Борьбе» со следующим примечанием:

Предательство Базена было в интересах общественного спасения раскрыто мне гражданином Флурансом, сказавшим, что он получил эти сведения непосредственно от гражданина Рошфора, члена временного Правительства национальной обороны.

Феликс Пиа Официальное сообщение, расклеенное в Париже 29 октября, в крайне осторожных выражениях объявляло о падении Бурже; около этого рапорта, подписанного Шмидтом, полицейские могли услышать немало замечаний, не особенно лестных для правительства.

Нашлись, однако, глупцы, утверждавшие, что сообщение подложно, и сторонники порядка поспешили для выигрыша времени поддержать эти нелепые слухи. Тридцатого сентября вечером новое сообщение уже признавало поражение при Бурже почти в том виде, какой оно имело в действительности.

Утром следующего дня появилось объявление, в котором сообщалось о капитуляции Меца и об оставлении Бурже...

Итак, в катастрофе признались, полив ее, как водится, святой водицей. Что случилось с грозными трибунами, боровшимися против империи! Они попрятались, как белки в клетку, и завертели то самое колесо, которое до них вертели другие и которое будет так же вертеться и после них.

Это колесо – колесо власти, которое всегда давит обездоленных.

III. 31 октября

Известия о поражениях, невероятная таинственность, которой окутывало их правительство, решимость Парижа ни в коем случае не сдаваться и уверенность, что его тайком сдадут, – все это было подобно действию ледяного ключа в раскаленном вулкане: в воздухе чувствовался огонь, и люди вдыхали его.

Париж, не желавший ни сдаваться, ни быть сданным, Париж, которому надоела официальная ложь, – восстал.

Четвертого сентября кричали: «Да здравствует Республика!» Тридцать первого октября раздался клич: «Да здравствует Коммуна!»

Те, кто 4 сентября направлялись к палате депутатов, шли теперь к ратуше. Иногда по дороге попадались ослы, рассказывавшие, что прусская армия едва не была разрезана на две или три части, уже не помню кем; другие плакались, что французские офицеры не знали

маленькой тропиночки, которая привела бы их в самый центр неприятельского расположения; а некоторые еще прибавляли: все дороги в наших руках. В действительности, эти три части были три германские армии, как раз и державшие в руках все дороги. Глупцы, подстрекаемые шпиками, продолжали горланить перед правительственными сообщениями, что это ложные телеграммы, что их фабрикуют Феликс Пиа, Рошфор и Флуранс, чтобы вызвать панику и поднять восстание перед лицом неприятеля. За все время войны, с самого ее начала, это была обычная фраза в устах этих людей, которая формально вела к тому, что ослабляла наше сопротивление и сводила на нет все благородные порывы.

Людской поток стремился к ратуше, отталкивая в сторону шпики и крикунов; человеческое море все росло.

Национальная гвардия толпилась перед решеткой; пестрели плакаты:

ДОЛОЙ ПЕРЕМИРИЕ!

КОММУНУ!

СОПРОТИВЛЕНИЕ ДО ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛИ КРОВИ!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ РЕСПУБЛИКА!

Толпа аплодировала и временами, как бы чуя врага, издавала грозные крики: «Долой Тьера!» Казалось, она требует крови. Многие из тех, кто раньше был обманут, кричали громче других: «Измена! Измена!»

От первых делегатов отделались обычными клятвенными обещаниями, что Париж никогда не будет сдан.

Трошю пытался говорить, утверждая, что теперь остается одно: бить и гнать пруссаков оружием патриотизма и единения.

Ему не позволили продолжать, и опять, как 4 сентября, к небу поднялся лишь один крик: «Коммуна! Да здравствует Коммуна!»

Какой-то мощный толчок бросает манифестантов к ратуше, лестницы которой охраняют бретонские[53] мобили. Ле-франсэ[54] проталкивается через их ряды, а старый Белэ[55], подняв на плечи Лекура, члена синдикальной камеры союза переплетчиков, помогает ему пролезть через окошечко их главного подъезда; туда устремляются добровольцы Тибальди; двери распахиваются настежь и поглощают столько людей, сколько может войти.

Вокруг стола в главной зале восседали Трошю, Жюль Фавр, Жюль Симон, у которых представители народа сурово потребовали отчета в действиях правительства.

Трошю, прерываемый криками негодования, объясняет, что ввиду настоящих обстоятельств для Франции было выгодно оставить позиции, занятые накануне германской армией.

Упрямый бретонец продолжает говорить, но вдруг бледнеет: ему подали бумажку, на которой были сформулированы требования народа:

НИЗВЕРЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА!

КОММУНА!

СОПРОТИВЛЕНИЕ ДО ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛИ КРОВИ!

НИКАКОГО ПЕРЕМИРИЯ!

– Франция погибла, – заявляет Трошю тоном глубочайшего убеждения.

Он понял, наконец, то, что ему не переставали твердить в продолжение многих часов: он понял, что народ требует низвержения Правительства национальной обороны.

Молча срывает он с себя какой-то орден и передает его одному из офицеров бретонских мобилей.

– Это сигнал! – восклицает Чиприани[56], товарищ Флуранса.

Почувствовав, что его жест разгадан, Трошю осматривается по сторонам и, заметив, что реакционеры начинают собираться в большом количестве, по-видимому, успокаивается.

Члены правительства удаляются на совещание и просят Рошфора объявить о назначении выборов в Коммуну, ибо никому другому уже не верят. Рошфор подходит к окну и передает толпе обещание правительства, а затем кладет на стол свое заявление об отставке и дает революционерам увести себя в Бельвиль, где, по их словам, его давно ждут.

Между тем вокруг Трошю собираются бретонцы, такие же упрямые и наивные, как он, охраняя его, как свою мадонну в приморских ландах; они ждут его приказаний, но он молчит.

В это самое время несколько членов правительства, пользуясь доверчивостью Флуранса и национальной гвардии, под разными предлогами выбрались из ратуши и хорошо использовали время для подготовки нападения.

Пикар приказал бить сбор, и 106-й батальон национальной гвардии, целиком составленный из реакционеров, под командой Ибоса (храбрость которого была достойна лучшего применения) выстроился у решетки ратуши.

Он разразился криками «Да здравствует Коммуна!» и был беспрепятственно пропущен внутрь.

В скором времени 40 000 солдат окружили здание ратуши, и спутникам Флуранса было предложено «во избежание конфликта» (как выразился Жюль Ферри) и ввиду «достигнутого соглашения» удалиться.

Менее наивный, чем остальные, капитан Гrefье арестовал Ибоса. Но Трошю, Жюль Фавр и Жюль Ферри снова обещают выборы в Коммуну и, сверх того, клянутся, что всем будет гарантирована свобода, каков бы ни был исход событий.

Члены правительства, оставшиеся в ратуше, столпились в амбразуре окна, откуда было видно, как строились солдаты 106-го батальона.

Милльер[57], заподозрив вдруг ловушку, хочет созвать национальную гвардию предместий, но Флуранс возражает, говоря, что это лишнее, раз правительство дало честное слово. Милльер, согласившись с ним, отсылает и свой батальон, который выстроился было на площади.

Толпа успокаивается, читая в этот момент расклеенную афишу, возвещавшую о предстоящих выборах в Коммуну; вернувшиеся домой доверчивые граждане на следующий день с великим изумлением узнали о новом обмане правительства.

Ферри, присоединившийся к Пикару, вернулся во главе многочисленных войск, выстроившихся в боевом порядке.

В то же самое время подземным ходом, соединявшим казармы Наполеона с ратушей, подходили новые подкрепления бретонских мобилей. Они шли, ибо так приказал им Трошю.

Это была настоящая западня. Газ был потушен, и бретонцы со штыками наперевес пробирались подземным ходом, в то время как батальоны «порядка» под командой Жюля Ферри входили через решетку.

Бланки, не подозревая, что можно так вероломно нарушить свое честное слово, передал через Константа Мартена[58] приказ послать в мэрию первого округа доктора Пильо[59] на место мэра Тенаиль-Салиньи. У дверей мэрии солдат преградил ему путь штыком. Тогда Констан Мартен отнял у него ружье и вошел со своими друзьями в зал совета. Мелин[60] в ужасе бросился за мэром, не менее его испуганным; печать и касса были переданы посланцам Бланки. Но в тот же вечер мэрия была взята обратно. Флуранс вышел из ратуши со стариком Тамизье[61], пройдя между двумя рядами солдат; за ним вышел и Бланки с Милльером, так как правительство еще не решалось показать, что оно плюет на свое честное слово.

В тот же вечер 31 октября в здании Биржи состоялось собрание офицеров национальной гвардии в связи с событиями последних трех дней.

В тот момент, когда снаружи раздался крик «Офицеры, по местам!», – какой-то человек с белой афишей в руках вбежал в залу.

Афиша содержала в себе декрет о назначении на завтра выборов в Коммуну.

– Да здравствует Коммуна! – крикнули в ответ присутствующие.

– Лучше было бы, – произнес чей-то голос, – чтобы сами массы учредили революционную Коммуну.

– Все равно, – воскликнул Рошбрюн, – лишь бы она помогла Парижу защищаться от нашествия!

Он высказал тогда ту же мысль, которую несколькими неделями раньше выражал Люлье[62], а именно, что в каждом отдельном пункте осаждающие Париж пруссаки смогут сосредоточить не более нескольких тысяч человек, и что поэтому вылазка 200 000 парижан может и должна увенчаться успехом.

Раздались крики одобрения; хотят назначить Рошбрюна начальником национальной гвардии, но он отвечает:

– Сначала Коммуну!

Вдруг кто-то из вновь пришедших бросается к трибуне и рассказывает, что 106-й батальон освободил правительство, что афиша лжет, что Правительство национальной обороны солгало, что теперь больше, чем когда-либо, в полной силе план Трошю, в котором предусмотрены одни поражения, и что Париж должен как никогда быть настороже перед возможной опасностью внезапной капитуляции.

Раздаются крики: «Да здравствует Коммуна!»

Какой-то толстяк, неизвестно почему оставшийся на площади, подходит к национальным гвардейцам и пытается выразить свое мнение:

– Всегда нужно начальство, – говорит он, – и всегда нужно правительство, которое руководило бы вами.

Это, видимо, оратор реакционного лагеря; ни у кого нет времени его слушать.

Да! Афиша солгала! Правительство солгало!

Париж не получит от него Коммуны.

Все, кого приветствовали накануне, были отданы под суд: Бланки, Милльер, Флуранс, Жаклар, Верморель[63], Феликс Пиа, Лефрансэ, Эд, Левро[64], Тридон[65], Ранвье, Разуа[66], Тибальди, Гупиль[67], Пильо, Везинье[68], Режер[69], Сириль, Морис Жоли, Эжен Шатлен.

Некоторые из них уже сидели в тюрьме. Феликс Пиа, Везинье, Верморель, Тибальди, Лефрансэ, Гупиль, Тридон, Ранвье, Жаклар, Бауер[70] были уже арестованы. Тюрьмы наполнялись не только революционерами, но и людьми, задержанными по ошибке и не сделавшими ровно ничего.

Такие люди фигурируют в каждом восстании.

Некоторые из них впервые таким образом узнают, откуда берутся революционеры.

Дело 31 октября было представлено судьями Правительства национальной обороны как покушение, целью которого было возбудить гражданскую войну, вооружив одних граждан против других, и к этому присоединены были еще вымогательства и незаконное лишение свободы.

– Неужели это империя возвращается? – спрашивали наивные люди.

В действительности она никогда и не исчезала: ее законы продолжали существовать, они стали еще строже. Но обратное течение волн делает бурю еще страшнее.

Генеральным прокурором был назначен Леблон (тот самый Леблон, который защищал когда-то одного из подсудимых перед верховным судом в Блуа; правда, он старался умалить свою роль, заявляя, что он только поверенный Жюль Фавра и Эммануэля Араго).

Префект полиции Эдмон Адан подал в отставку, не желая производить предписанных ему арестов.

А в ратуше бретонские мобили, устремив вдаль свои голубые глаза, спрашивали себя, скоро ли г. Трошю избавит Францию от преступников, натворивших столько бед, чтобы они могли снова увидеть свое море, гранитные скалы, твердые, как их собственные черепа, степи с реющими над ними коршунами, и плясать на просторе в праздничные дни.

IV. От 31 октября – к 22 января

Да, это действительно была империя. Переполненные тюрьмы, страх и доносы изо дня в день; поражения, которые в правительственных сообщениях превращались в победы.

Вылазки были запрещены; именем старого Бланки пользовались, как пугалом на огороде человеческой глупости.

Генералы, столь робкие перед лицом неприятеля, обнаруживали достаточно храбрости, когда нужно было действовать против толпы.

На горизонте маячили июнь и декабрь, но еще более страшные, чем пережитые.

Жюль Фавр, которого никак нельзя заподозрить в сгущении красок к выгоде революционеров, так описывает положение дел в армии:

«Генерал Дюкро, охранявший (31 октября) ворота Майо, узнав о затруднительном положении правительства, не дожидаясь распоряжений, приказал своим войскам вооружиться, запрячь пушки и двинуться маршем к Парижу; он вернулся только тогда, когда все успокоилось».

На этот раз Дюкро не опоздал; правда, дело шло о народных массах.

В той же книге Жюль Фавр, по поводу теории Трошю относительно покинутых позиций, высказывается следующим образом:

«Что касается потери Бурже, то генерал заявил, что она не имеет никакого стратегического значения и что население Парижа совершенно напрасно волнуется. Занятие нами этой деревни произошло без распоряжения свыше и вопреки общему плану, принятому парижским правительством и Комитетом обороны: все равно позицию пришлось бы очистить»[71].

Это был тот самый Жюль Фавр, который во времена империи храбро заявлял:

«Процесс этот можно рассматривать как обломок разбитого зеркала, в котором страна видит себя всю целиком». (Дело шло о подкупности императорского режима.) Но нет человека, которого не испортила бы власть. Надо, чтобы она была уничтожена.

Сентябрьская Республика держалась общим голосованием. Однако всякое голосование благодаря запуганности и невежеству населения всегда дает большинство, благоприятное правительству, которое этот плебисцит устраивает, и противное истинным интересам народа.

Солдаты, матросы и беженцы из окрестностей Парижа голосовали по-военному; может быть, к ним присоединились еще 300 000 парижан, воздержавшихся от голосования, в результате чего Правительство национальной обороны получило 321 373 положительных ответа.

Слухи о победах не прекращались. Генерал Камбриель совершил столько подвигов, что не верили уже ни одному.

Ходила легенда, что «преступники 31 октября» унесли из ратуши серебро и государственные печати.

После плебисцита 3 ноября правительство объявило, что оно исполнит свои обещания и приступит к муниципальным выборам.

Тем временем люди, арестованные по делу 31 октября, все еще находились в тюрьме, но когда они три месяца спустя предстали перед военным судом, последнему пришлось оправдать всех; им было предъявлено обвинение «в том, что они враги империи», но так как суд происходил при Республике, то обвинение падало само собой. На этот раз Констан Мартен был позабыт; о нем вспомнили лишь двадцать шесть лет спустя.

Часть обвиняемых была выбрана в виде протеста в различных округах Парижа; республиканские мэры и их помощники были переизбраны.

Мэрами и помощниками мэров были избраны, между прочим, Ранвье, Флуранс, Лефрансэ, Дерер, Жаклар, Милльер, Малон, Пуарье, Элигон[72], Толен[73], Мюра, Клемансо, Ла-фон. (Ранвье, Флуранс, Лефрансэ, Милльер и Жаклар все еще сидели в тюрьме.)

Население Монмартра и Бельвиля, их мэрии, наблюдательные комитеты и клубы были пугалом для «людей порядка».

В народных кварталах обычно не особенно много думают о правителях. Их ведет свобода, а она не капитулирует.

В наблюдательных комитетах собирались люди, безусловно преданные революции, которым не страшна была смерть. Там закалялось их мужество. Там чувствовали себя свободными, смотрели в прошлое без желания копировать 1793 год и смотрели в будущее, не боясь неизвестного.

Сюда влекло людей с характером, гармонизировавшим с общим настроением, энтузиастов и скептиков, всех фанатиков революции, желавших видеть ее прекрасной, идеальной, великой.

Когда собирались в доме № 41 по шоссе Клиньянккур, где согревались больше огнем идей, чем дровами или углем, и только в редких случаях, в связи с приходом какого-либо делегата, бросали в камин стул или словарь, – то расходились оттуда неохотно.

Собирались обычно к пяти-шести часам вечера, обсуждали проделанную за день работу и ту, которая предстояла завтра; болтали, оттягивая время до последней минуты, – до восьми часов, когда каждый отправлялся в свой клуб.

Но иногда скопом врывались в какой-либо реакционный клуб – вести там республиканскую пропаганду.

Свои лучшие часы за дни осады я провела в монмартрском наблюдательном комитете и в клубе «Отечество в опасности»; там жили более быстрым темпом, чем в других местах, там радовались, чувствуя себя в напряженной борьбе за свободу как в родной стихии.

В некоторых клубах председательствовали члены наблюдательных комитетов: так, в клубе «Белой Королевы» председателем был Бюрло, в каком-то другом – Авронсар, в клубе «залы Перо» – Ферре, в клубе здания мирового суда – я. Два последних клуба назывались клубами революции «Округа больших каменоломен» – название, особенно неприятное людям, усматривавшим в нем отзвуки 93 года.

Тогда слово председательствовать означало не только исполнение почетной обязанности, но и принятие на себя всей ответственности перед правительством, которая выражалась и в отбывании тюремного заключения, и в обязанности оставаться на своем посту, отстаивая право свободы собраний от реакционных батальонов, позволявших себе врываться в залу и осыпать оскорблениями ораторов.

Обыкновенно я клала перед собой на стол маленький старый пистолет без собачки, так чтобы он всегда был у меня под руками; схватывая его в нужный момент, я часто останавливала «друзей порядка», начинавших стучать об пол прикладами своих ружей.

Клубы Латинского квартала[74] действовали в полном согласии с клубами народных округов.

Один молодой человек говорил 13 января на улице Ар-раса:

– Положение отчаянное, но Коммуна будет взывать к мужеству, к знанию, к энергии, к молодости. Она победоносно отразит пруссаков; но если последние признают социальную республику, мы протянем им руку, и тогда настанет эра счастья народов.

Несмотря на настойчивость, с которой Париж требовал вылазок, только 19 января правительство согласилось разрешить национальной гвардии попытаться взять обратно Монрету и Бюзенваль.

Эти местности были заняты, но люди, увязнув по щиколотку в жидкой грязи, не смогли втащить орудия на холмы и должны были отступить.

Там полегли сотни, храбро отдавая свою жизнь: национальные гвардейцы, люди из народа, художники, молодежь. Земля впитала в себя кровь первой парижской гекатомбы; впоследствии она должна была пресытиться ею...

V. 22 января

Вечером 21 января делегаты всех клубов собрались в клубе «Белой королевы» на Монмартре, чтобы принять последнее решение, пока не наступило еще окончательное поражение.

Роты национальной гвардии, возвращаясь с похорон Рошбрюна, отправились в тот же клуб с криками: «Долой правительство!»

Национальные гвардейцы предместий условились явиться в полном вооружении на следующий день к 12 часам на площадь перед ратушей.

Их должны были сопровождать женщины для протеста против нового хлебного пайка. Скудость его готовы были терпеть только в том случае, если бы это было нужно для освобождения.

В знак протеста я, по примеру товарищей, решила захватить с собой ружье.

Мера подлости и позора переполнилась: противников завтрашней демонстрации для предъявления требований правительству не нашлось.

– Хлеба хватит, – объявило последнее, – только до четвертого февраля, но мы не сдадимся, хотя бы пришлось погибнуть с голоду или дать похоронить себя под развалинами Парижа.

Делегаты Батиньоля обещали привести с собой к ратуше мэра и его помощников при всех знаках его достоинства.

Делегаты Монмартра сейчас же отправились в свою мэрию. Клемансо там не было, но его помощники обещали прийти и действительно явились.

Между наблюдательными комитетами, делегатами клубов и национальной гвардией установилось полное единодушие.

Заседание закрылось при криках: «Да здравствует Коммуна!»

Двадцать первого января днем Анри Плас, известный тогда под своим псевдонимом Верле, Чиприани и многие другие бланкисты отправились в тюрьму Мазас; Грефье попросил разрешения повидать надзирателя тюрьмы, с которым познакомился во время своего заключения.

Его пропустили вместе с сопровождавшими его лицами; он заметил, что у главного входа стоит один только часовой.

Направо от этой двери находилась другая, меньших размеров, стеклянная, через которую и проходили в тюрьму и возле которой днем и ночью стоял сторож.

Напротив – караульное помещение, занимаемое национальными гвардейцами «партии порядка»: это был пост. Дойдя до круглой площадки, Грефье спросил у сторожа самым равнодушным тоном, где находится «старик». Так друзья называли Гюстава Флуранса; так же называли уже давно и Бланки, который действительно был уже стариком.

– Коридор Б, камера девять, – ответил, ничего не подозревая, сторож.

Действительно, направо тянулся коридор, обозначенный буквой «Б».

Осмотрев все, что им было необходимо, и поговорив кое о чем другом для отвода глаз, Грефье и его спутники отправились обратно.

В десять часов вечера на улице де Курон в Бельвиле к ним присоединились 75 вооруженных людей.

Этот маленький отряд, зная пароль, разыгрывал из себя военный патруль и перекликался с другими патрулями, встречавшимися на пути его следования к тюрьме.

Заговор мог удался только при исключительной быстроте действий.

Первые 12 человек должны были обезоружить часового, четверо других – справиться со сторожем, охранявшим стеклянную дверку.

Тридцать человек должны были ворваться в караульное помещение, рассыпаться между ружейными козлами и походными койками, на которых спали гвардейцы, взять перед ними ружья на изготовку и тем помешать им сделать хоть малейшее движение.

Остальные 25 заговорщиков должны были подняться на круглую площадку, арестовать шесть сторожей, заставить их открыть камеру Флуранса, запереть их туда, затем быстро спуститься, запереть на ключ стеклянную дверь, выходящую на бульвар, и удалиться.

Этот план был исполнен с математической точностью.

– Только начальник тюрьмы, – рассказывал Чиприани, – оказал кое-какое сопротивление; но когда к его лицу приставили револьвер, он уступил, и Флуранс был освобожден.

Из Мазаса отряд, начавший так удачно, отправился в мэрию 20-го округа, где Флуранс только что был выбран помощником мэра; там они ударили в набат, и два десятка человек провозгласили Коммуну; но никто не отозвался, опасаясь новой ловушки со стороны «партии порядка».

В ратуше шло ночное заседание членов правительства; не было ничего легче захватить их там.

Но Флуранс, сидя в тюрьме, был лишен возможности наблюдать рост революционного движения; он возразил, что имеющихся сил недостаточно.

Но первый отважный удар ведь удался. Отчаянная решимость производит действие, подобное действию пращи на камень: такова ее сила.

Утром 22 января свирепая афиша Клемана Тома, заменившего Тамизье в качестве командира национальной гвардии, была расклеена по всему Парижу. Эта афиша объявляла революционеров вне закона; они рассматривались как виновники смуты, и все сторонники «порядка» призывались уничтожать их.

Афиша начиналась так:

Вчера вечером горсть бунтовщиков взяла штурмом тюрьму Мазас и освободила своего вождя Флуранса.

Затем следовали ругательства и угрозы.

Взятие Мазаса и освобождение Флуранса привели в ужас членов правительства; в ожидании повторения событий 31 октября они обратились к Трошю, который и набил всю ратушу своими бретонцами.

Командовал ими Шодэ: его враждебное отношение к Коммуне было достаточно хорошо известно.

В полдень огромная толпа, по большей части безоружная, заполнила площадь перед ратушей.

У очень многих национальных гвардейцев ружья были без патронов; монмартрские гвардейцы были вооружены.

Молодые люди, забравшись на фонари, кричали: «Долой правительство!»

Курчавая голова весьма оживленного Бауера мелькала среди них.

Время от времени раздавались крики.

Там были не только те, кто обещал прийти: явились также и многие другие; было много женщин: Андрэ Лео, Блен, Экскофон, Пуарье, Данге.

Национальные гвардейцы, не захватившие с собой патронов, начинали сожалеть об этом.

Предстоял жаркий день – в этом нельзя было сомневаться. Что-то будет завтра? Ратуша еще накануне была набита мешками с землей; бретонские мобили, которыми она кишела, скучившись у оконных амбразур, пристально смотрели на нас своими голубыми глазами с отливом стали; лица их были бледны и неподвижны.

Для них это было началом охоты на волков.

Трошю сказал друзьям, живущим в Ансени: Друзья мои, король несет нам лилии[75] свои. Толпа все прибывала, как и 31 октября.

За решеткой перед фасадом стояли подполковник бретонских мобилей Леже и комендант ратуши Шодэ, который не пользовался доверием.

– Те, кто сильнее, – сказал он, – расстреляют других.

Сила была на стороне правительства.

Были отправлены делегаты заявить, что Париж еще раз подтверждает свою волю ни в коем случае не сдаваться; тщетно добивались они, чтобы их впустили: все двери были заперты. Бретонцы по-прежнему толпились у окон.

В эту минуту ратуша напоминала корабль среди океана, зияющий открытыми пушечными люками: толпы людей вначале вздымались подобно валам, затем затихли и ждали.

Никто не сомневался более, каким образом правительство собирается встретить тех, кто не желает сдачи, которая привела бы за собой Баденге на буксире у Вильгельма; но если бы даже она грозила только позором – и это было для Парижа неприемлемо.

Вдруг Шодэ вошел в ратушу.

– Сейчас, – заговорили в толпе, – он прикажет стрелять в нас.

Тем не менее была сделана попытка проникнуть за решетку, где стояли офицеры, осыпавшие толпу бранью.

– Вы не знаете, что вас ожидает за противодействие воле народа, – сказал им старый Мабиль, один из стрелков Флуранса.

– Плевать мне на это, – ответил офицер, только что выпустивший заряд ругательств, и направил свой револьвер на соседа Мабилья, который, в свою очередь, ринулся на него.

Через несколько минут после того, как Шодэ вошел в ратушу, за одной из дверей раздался звук, похожий на удар рукояткой шпаги; затем раздался одинокий выстрел.

Менее чем через секунду прозвучал дружный залп, очистивший площадь.

Пули цокали, как летний град в грозу.

Вооруженная часть толпы стала отстреливаться, бретонцы стреляли холодно, без остановки; их пули косили толпу; вокруг нас падали прохожие, любопытные, мужчины, женщины, дети.

Некоторые из национальных гвардейцев впоследствии признавались, что целились не в тех, кто расстреливал нас таким образом, а в стены; на стенах действительно остались следы от пуль.

Я не была из их числа: действуя так, мы вечно терпели бы поражение с грудami трупов, с непрекращающимися страданиями или даже изменами.

Стоя перед этими проклятыми окнами, я не могла оторвать глаз от этих бледных лиц дикарей, которые стреляли в нас без всякого волнения, совершенно машинально, как будто мы были стаей волков. Я думала: «Когда-нибудь вы будете с нами, солдаты, ибо вы убиваете, но верите в свое дело; вас обманывают, но не покупают, а нам нужны неподкупные».

И рассказы старого дедушки проходили перед моими глазами, рассказы о тех временах, когда беспощадно бились герои с героями, когда крестьяне Шаретта, Кателино, Ларошжакелена[76] сражались с войсками Республики.

Близ меня перед окнами были убиты высокая женщина в черном, похожая на меня, и сопровождавший ее молодой человек. Мы так никогда и не узнали их имен, и никто не знал, кто они.

Два высоких старика, стоя на баррикаде, воздвигнутой на авеню Виктории, спокойно стреляли, напоминая две статуи гомеровских времен: это были Мабиль и Малезье.

Эта баррикада, воздвигнутая из опрокинутого омнибуса, некоторое время выдерживала огонь ратуши.

Когда Чиприани проходил по этой улице с Дюсали и Сапия[77], ему пришло в голову остановить часы ратуши; он выстрелил и разбил циферблат; было пять минут пятого.

В это мгновение пал Сапиа, сраженный пулей в грудь.

У Анри Пласа была перебита рука. Но, как это обычно бывает, большинство жертв пало на совершенно невинных людей, случайно попавших под пулю.

Шальные пули убивали прохожих и на соседних улицах.

Продержавшись сколько можно было (отстреливались из-за маленьких построек на углу площади), мы вынуждены были отступить.

Защищая в первый раз свое дело оружием, так уходишь в борьбу, что кажется, сам становишься взрывчатым веществом, снарядом.

Вечером мы увидели папашу Малезье все в том же широком сюртуке, изрешеченном пулями наподобие мишени.

Дерер, на одно мгновение захвативший в единственном числе двери ратуши, вернулся в мэрию Монмартра, все еще опоясанный красным шарфом.

– Нужно страшно много свинца, чтобы убить одного человека, – говорил Малезье, старый боец июньских дней.

Для него действительно потребовалось столько свинца, что все пули кровавой недели пролетели мимо него; возвратившись из ссылки, он сам покончил с собой: буржуа нашли его слишком старым для работы.

Преследования за 22 января начались тотчас же.

Правительство, по-прежнему клянясь, что никогда не сдастся, попыталось заставить замолчать наблюдательные комитеты, федеральные камеры и клубы. Тогда все стало клубом, улица стала трибуной, камни мостовой – и те, казалось, заговорили.

Было отдано несколько тысяч приказов об арестах, но задержать удалось только несколько человек: мэрии отказывались производить аресты, говоря, что это может вызвать новые мятежи.

Часто спрашиваешь у себя, почему из всех членов правительства ни один не оказался на высоте положения. Особенное отвращение Париж чувствовал к Жюлю Ферри: причиной тому было его ужасающее двуличие...

Один писатель, сочувствующий Правительству национальной обороны и знающий образ мыслей буржуазии, делает следующее откровенное признание по поводу репрессий за 22 января:

«Пришлось ограничиться заочными смертными приговорами Гюставу Флурансу, Бланки и Феликсу Пиа»[78].

Понял ли Жюль Фавр, что отнять у Парижа оружие было бы бесполезной попыткой, которая привела бы к верной революции, или у него настолько сохранилось чувство справедливости, что он считал невозможным отнять оружие у национальной гвардии, – но только он никогда не возбуждал вопроса о разоружении, хотя его сообщение от 28 января объявляло о перемирии, против которого Париж неизменно восставал.

Перемирие было верным признаком капитуляции, и оставалась неизвестной только дата, когда неприятельская армия вступит в преданный город.

Те, кто так долго утверждал, что правительство никогда не сдастся, что Дюкро вернется или мертвым, или победителем, что ни пяди земли, ни одного камня крепостей не будет уступлено неприятелю, увидели наконец, что их обманывали.

Вот как обходились с арестованными 22 января и с теми, кого перевели в Венсенн и кто поэтому не мог быть освобожден революционерами, как Флуранс: «Несчастные, – говорит Лефрансэ, – которых перевели в Венсенн, пробыли там восемь дней без огня; через окна замковой башни, куда они были заперты, падал снег; они лежали как попало на пространстве приблизительно в 150 квадратных метров, в самой отвратительной грязи».

Один из них, арестованный за 31 октября, гражданин Тибальди, вынесший всякого рода физические и нравственные пытки в Кайенне[79], где империя держала его 13 лет, заявлял, что ничего подобного он никогда не видел.

Потом их перевели из Венсенна в тюрьму Сантэ, где они две недели оставались в нетопленных камерах, по стенам которых стекала вода, так что белье и простыни никогда не просыхали; затем их перевели в Пелажи, где им еще два месяца пришлось ждать приговора военного суда.

В числе задержанных 22 января был Делеклюз, брошенный в этот ад, как и все, только за то, что был редактором закрытой газеты «Пробуждение». Делеклюз, 65-летний старик, слабый, страдающий острым бронхитом, был полумертвым выпущен из тюрьмы; на выборах 8 февраля он был избран в Законодательное собрание в Бордо.

Один рабочий, гражданин Мань, был арестован по дороге из своей мастерской домой.

Он был уже болен и через месяц умер в Пелажи, замученный вконец режимом этой тюрьмы[80].

Вечером 22 января был расклеен декрет о закрытии клубов в Париже...

Бомбардировка Парижа психологически успокаивала в том смысле, что все-таки оставалась еще надежда на последний бой.

Когда после 28 января она прекратилась, население почувствовало, что его предали; оставался один исход: умереть, если только восстание невозможно.

Как! Все мертвецы, лежащие грудами, одни на полях, другие – на камнях мостовой; старики, умершие от бедствий осады, – все это не послужит ни к чему, кроме как к народному унижению, и слово «Республика» будет только маской!

Как! Так это и есть то, что издали рисовалось в лучах славы!

Всякий республиканец был объявлен врагом Республики.

Жюль Фавр, Жюль Симон, Гарнье-Пажес объезжали департаменты; Гамбетта успел задушить лионскую и марсельскую Коммуны, вызванные революцией 4 сентября, с той же развязностью, с какой он на следующий день после 14 августа требовал смертной казни для ля-виллетских бандитов.

VI Женщины 1870 года Среди самых непримиримых борцов, которые сражались с завоевателем и защищали Республику, эту зарю свободы, было немало женщин.

Из женщин захотели образовать особую «касту», и под давлением силы и обстоятельств произошло наше обособление: нас не спрашивали, хотим ли мы этого, и нам не с кем было посоветоваться. Новый мир соединит нас с освобожденным человечеством, в котором каждое существо найдет себе место.

Мария Дерезм храбро боролась за права женщин, но исключительно с идейной стороны; в профессиональных школах работали жена Жюля Симона, Полен, Жюли Туссен. Школа для маленьких детей, которую устроила Пан-Карпантье на улице Отфейль, так близко примыкала во время империи к обществу первоначального обучения, что наиболее активные труженицы участвовали во всех группах сразу. В этом деле нам помогал Франколен из Общества первоначального обучения, которого, вследствие его сходства с учеными эпохи алхимии, мы в товарищеском кругу называли «доктор Франколинус».

Он основал почти без посторонней помощи бесплатную профессиональную школу на улице Тэвено.

Там занимались вечером. Те из нас, кто работал там, могли таким образом отправляться на улицу Тэвено, кончив занятия в своих классах. Почти все мы были воспитательницами; с нами была и Мария Ля-Сесилия, в то время молодая девушка; директрисой была Мария Андре; несколько женщин вели преподавание. Я читала три курса: литературу, где так легко можно было отыскать цитаты из прекрасных авторов, подходящие к настоящему моменту; историческую географию, где названия и исследования прошлого приводили к именам и открытиям нашего времени. Читая эти курсы, так уместно было рисовать картины будущего на развалинах прошлого. Я с наслаждением отдавалась этой работе.

По четвергам я вела еще класс рисования, который как-то посетила императорская полиция, оказав мне честь тем, что посмотрела портрет Виктора Нуара на смертном одре, сделанный мелом и растушеванный пальцем на черной доске, что производило мягкое и глубокое впечатление.

Когда события стали осложняться, курс литературы я передала Шарлю де Сиври, а курс рисования – своей товарке по классу и подруге, мадемуазель Потен.

Все женские общества, думая только о бедствиях переживаемого времени, соединились с обществом помощи жертвам войны, в котором буржуазные дамы – жены членов Правительства национальной обороны, которое так плохо обороняло страну, – выказали себя в самом героическом свете.

Говорю это без всякого кружкового «патриотизма», ибо сама я чаще бывала в клубе «Отечество в опасности» и в наблюдательных комитетах, чем в комитете помощи жертвам войны.

В этом последнем царил благородный дух широкой терпимости: помощь оказывалась, правда крохами и чтобы хоть немного облегчить все страдания и таким образом поддерживать веру, что капитуляции не будет.

Если бы кто-нибудь в комитете помощи жертвам войны заговорил бы о сдаче, его выставили бы за дверь не менее энергично, чем в клубах Бельвиля или Монмартра.

Парижские женщины были одинаковы в этом отношении как в городе, так и в предместьях; мне вспоминается Общество первоначального обучения, где я сидела на ящике со скелетом в маленьком кабинете направо от канцелярии; в Обществе же помощи жертвам войны мое место было на табурете у ног мадам Гудшо, своими белыми волосами походившей на маркизу из далекого прошлого. Порой она с улыбкой охлаждала мои пылкие мечты.

Почему я там была на положении привилегированной? Не знаю. Быть может, потому, что вообще женщины любят бунтовать. Мы не лучше мужчин, но власть еще не развратила нас.

Факт в том, что они меня любили, и что я любила их.

Когда после 31 октября я была арестована Крессоном[81], не столько за участие в демонстрации, сколько за то, что сказала: «Я была там для того, чтобы разделить опасность с женщинами, не признающими правительства», – госпожа Мерис от имени Общества помощи жертвам войны явилась требовать моего освобождения в ту самую минуту, когда того же требовали от имени клубов Ферре, Авронсар и Крист.

Чего только не предпринимали женщины 1871 года! Прежде всего мы устроили походные лазареты в фортах, и так как Правительство национальной обороны, вопреки обыкновению, согласилось принять нас по этому делу, то мы уже начинали верить, что наши правители серьезно собираются сражаться, между тем как они в это самое время послали туда массу молодых людей, совершенно бесполезных, невежд и крикунов, испускавших крики ужаса даже тогда, когда форты были в сравнительной безопасности; после этого мы поспешили подать в отставку и стали искать себе более полезного дела. В прошлом году я разыскала одну из наших храбрых лазаретных деятельниц – мадам Гаспар.

Где только мы не работали! Лазареты, наблюдательные комитеты, мастерские при мэриях, в которых, особенно на Монмартре, мадам Пуарье, Экскофон, Блен и Жарри сумели, одна за

другой, так поставить дело, что заработки всех были приблизительно равны.

Революционный «котел», где во время осады мадам Ле-мель[82] из синдикальной камеры переплетчиков, уж не знаю каким образом, сумела спасти от голодной смерти такую массу людей, – этот «котел» был подлинным чудом ума и самоотверженности.

Женщины не спрашивали себя, возможно ли известное дело, но полезно ли оно; в последнем случае они тотчас же брались за его осуществление.

Однажды мы решили, что на Монмартре недостаточно лазаретов, и вот я с одной подругой из Общества первоначального обучения, совсем молоденькой в ту пору, принялась за устройство нового лазарета. Девушка эта была Жанна А.

У нас не было ни гроша, но для образования фонда мы придумали следующее.

Мы брали с собой высокого национального гвардейца с лицом, похожим на гравюру 1793 года; он шел впереди с примкнутым к ружью штыком. Опоясанные широкими красными шарфами, с сумками в руках, специально связанными для этого случая, мы все трое с мрачным видом отправлялись к богачам. Начинали с церковью: национальный гвардеец шагал посередине, стуча ружьем по плитам. Каждая из нас обходила одно крыло церкви и собирала пожертвования, начиная со священников у алтаря.

Богомольные дамы по очереди, бледнея от ужаса и дрожа, опускали деньги в наши кошельки; некоторые это делали довольно охотно, священники давали все. Потом настала очередь финансистов, евреев или христиан, без различия; затем просто добрых людей; один аптекарь из Монмартра предложил в наше распоряжение свой материал. Госпиталь был основан.

В мэрии Монмартра было много смеха по поводу этой экспедиции, которую никто бы не одобрил, если бы рассказали о ней до ее успешного завершения.

День, когда Пуарье, Блен и Экскофон пришли за мной в школу, чтобы основать женский наблюдательный комитет, остался у меня навсегда в памяти.

Это было вечером после занятий. Сидели они у стены: Экскофон, с растрепанными белокурыми волосами; мамаша Блен, уже старуха – в суконной шляпе, а Пуарье – в красном ситцевом капюшоне. Без комплиментов и колебаний они мне просто сказали:

– Вам надо идти с нами.

И я им ответила:

– Иду.

У меня в классе в это время было почти двести учениц, девочек от 6 до 12 лет, с которыми занимались я и моя помощница; были еще совсем маленькие мальчики и девочки от 3 до 6 лет, с которыми занималась моя мать и которых она очень баловала. Старшие девочки

моего класса помогали ей, то одна, то другая.

Малыши, дети крестьян, искавших убежища в Париже, присланы были ко мне Клемансо; мэрия обязалась кормить их; у них всегда были молоко, конина, овощи и очень часто – какие-нибудь лакомства.

Однажды молоко опоздало. Самые маленькие, не привыкшие ждать, принялись плакать, и моя мать, утешая их, плакала с ними. Не знаю, как пришло в голову мне пригрозить им, что, если они не замолчат, их отправят к Трошю.

Тотчас они закричали в ужасе:

– Барышня, мы будем послушными, не посылайте нас к Трошю!

Эти крики и терпение, с каким они стали ждать молока, укрепили меня в мысли, что у них дома парижское правительство не пользовалось большим уважением.

Часто говорят о том, что воспитательницы чрезвычайно ревнивы друг к другу; я лично никогда не испытывала этой ревности; до войны мы менялись с моей ближайшей соседкой Потен, которая давала за меня уроки рисования, а я за нее – уроки музыки; время от времени мы возили наших старших питомиц на курсы на улице Отфейль. Во время осады, когда я сидела в тюрьме, она вела мой класс.

Версия #1

Зверобой создал 29 мая 2025 07:49:57

Зверобой обновил 29 мая 2025 07:52:38